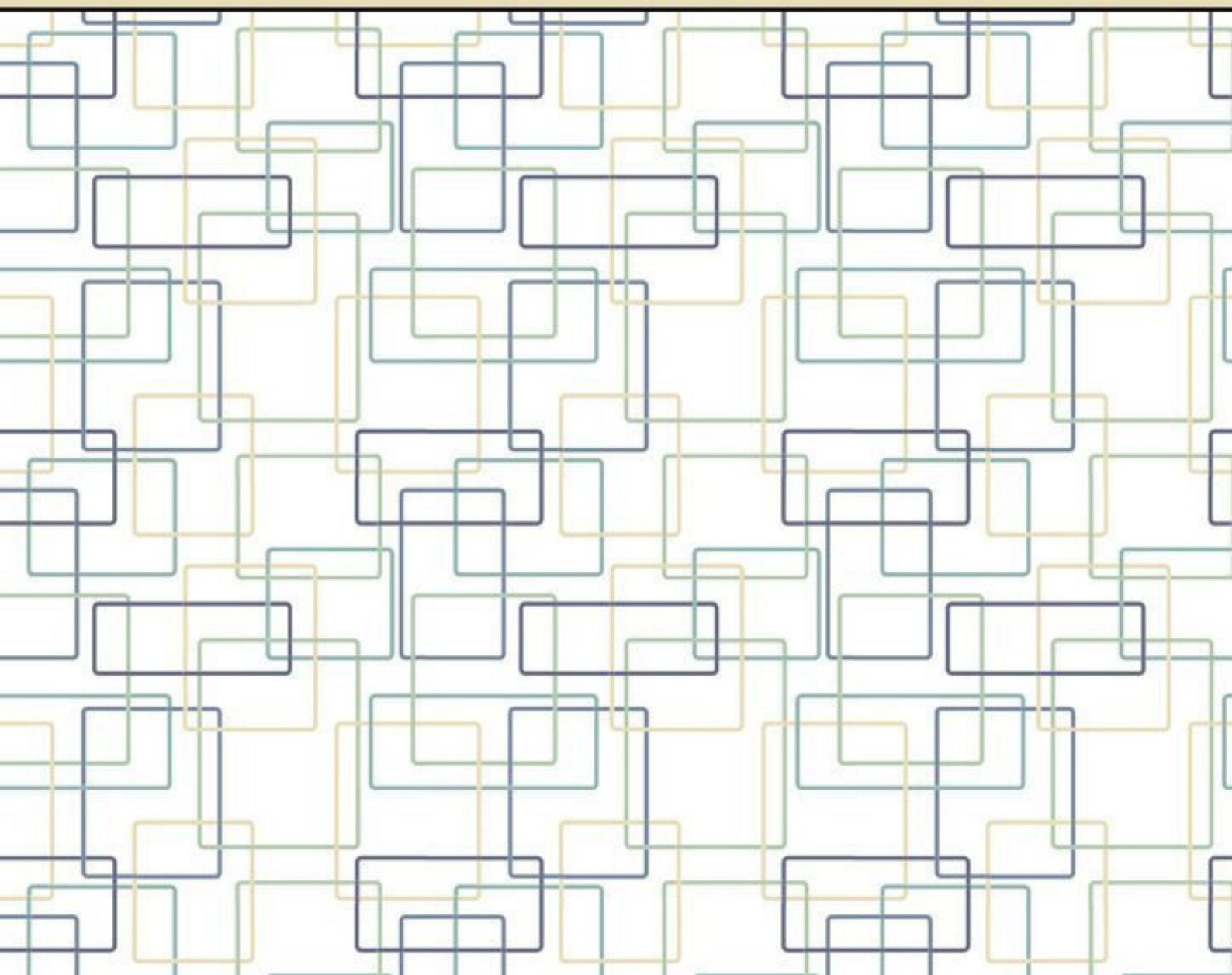


18+ *Георгий Демихов*

# *Звёзды на дне стакана*



Юрий Нестеренко  
**Звёзды на дне стакана**

«Издательские решения»

**Нестеренко Ю.**

Звёзды на дне стакана / Ю. Нестеренко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-553185-8

Человек пришел с войны... К мирной жизни привыкать не просто, особенно если ты вернулся инвалидом. Надо найти себя и ту, что поможет. О Родине, любви и верности. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-553185-8

© Нестеренко Ю.  
© Издательские решения

# Звёзды на дне стакана

**Юрий Нестеренко**

© Юрий Нестеренко, 2021

ISBN 978-5-0055-3185-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Вступление

Человек пришел с войны.  
Дверь плечом задел в прихожей.  
Пятерней взъерошил «ежик».  
Сумку бросил у стены.

Дрогнул уголками губ,  
В зеркале узнав мальчишку,  
Знавшего войну по книжкам  
Да по битвам на снегу.

Обнял плачущих родных,  
Крыльями раскинув руки.  
«Здравствуй, мам. Привет, сеструха.  
Как вы без меня одни?»

Где-то далеко война...  
Он же, форму сняв, как кожу,  
На два года стал моложе.  
Если бы не седина...

Сел, куда не зная деть  
Руки в ссадинах подживших.  
На шкафу шеренги книжек,  
Сдвинув брови, оглядел.

Взгляды чувствуя спиной,  
Шепотом читал названья.  
Обернулся вдруг: «Так странно...  
Я не помню ни одной...»

За столом чуть напоказ  
Бодр и весел был. Но все же  
На вопросы односложно  
Отвечал, и через раз...

Ночью криком рвались сны...

Голос мамин пел чуть слышно:  
«Баю-баю, тише, тише,  
Спи, сыночек, нет войны...»

1.

Он вышел на трап, прищурился на яркое июльское солнце, почувствовал, как волной охватил, поднимающийся от нагретого бетона посадочной полосы, воздух, вдохнул его насыщенный пылью запах и, закинув на плечо спортивную сумку с адидасовским трилистником, шагнул вниз, стараясь не хромать. Обычный парень, высокий, плечистый. С крепкими мышцами, с тугими узлами вен на предплечьях. Цветастая «гавайка», джинсы «Levi's», кроссовки «Reebok» - сплошь «фирма», купленная еще за речкой специально на дембель. В двадцать один он вполне мог сойти за действующего спортсмена, если бы не седина на висках. Впрочем, почти не различимая в коротких, под «полубокс», волосах. Запнувшись, обернулся и поймал провожающий с интересом взгляд стюардессы, с которой еще во время полета перекинулся несколькими фразами в духе «девушка, Вашей маме зять не нужен?» Улыбнулся ей, махнул на прощание, прямо как Сашка Савченко из любимой с детства «Весны на Заречной улице». И уже без проблем преодолел оставшиеся ступеньки трапа.

Нога, собранная едва ли не по кусочкам в московском госпитале, затекла и стала ныть еще во время долгого перелета. Он всю дорогу шевелил пальцами в кроссовке, несколько раз вставал, как будто в туалет или к девчонкам-бортпроводницам попросить воды, благо место досталось возле прохода. Боль утихала, но ненадолго. Так что, спускаясь по трапу, как он ни старался идти свободно, все-таки споткнулся. У девчонки на глазах... Да и ладно.

Автобус, которым перевозят пассажиров до терминала, почему-то задерживался, и он, оглядев небольшую толпу возле устало повесившего крылья ИЛа, пошел пешком, вдыхая полной грудью доносящуюся издалека тополиную горечь родного города. Навстречу, чихая, пропыхтел автобус-опозданец. Водитель даже притормозил возле него, но он отмахнулся, и автобус покатил дальше. К зданию аэропорта они прибыли почти одновременно. Народ сгрудился возле конвейера, ожидая багаж. Он со своей невеликой сумкой прошел мимо и вышел на площадь. От группы таксистов отделился один, средних лет, с заметным из-под клетчатой рубахи пузцом. «Куда поедем?» Он назвал адрес. Окинув пассажира оценивающе-профессиональным взглядом, таксер озвучил: «Червонец.» «Да ну, всю жизнь два с полтиной было!» «Так это когда было...» – водила поднял глаза в выцветшее от жары небо, – «Никто дешевле не повезет.» Кивнул на остальных, прислушивающихся к диалогу. «Два года назад и было, – отрезал он, – совсем вы тут на гражданке охренели.» И пошел к выезду с площади. Идти было еще метров двести, нога ныла от кончиков пальцев до паха, но он, подчеркнуто улыбаясь, поправил на плече сумку и зашагал, стараясь ступать твердо. «За пять, уважаемый...» Он обернулся, таксист был рядом. «Меньше не могу, товарищи не поймут.» «Короче, полтинник накину детишкам на молочишко. Итого – трояк. Все.» Мужик еще раз оглядел его, что-то другое, не барыжное, мелькнуло в глазах. Согласно кивнул и торопливо пошел к машине.

Дорогой молчали. Он, опустив стекло, ловил пальцами тугой встречный поток воздуха, смотрел на пробегающий мимо пейзаж, вспоминал... Как будто ничего не изменилось. И тополя в июльской серой пыли, и пятиэтажки из белого кирпича, и люди...

Он дернул дверь подъезда. Дверь знакомо скрипнула и так же знакомо-гулко гроыхнула за спиной. Поднялся на этаж. Постучал к соседке, услышал шаркающие шаги. С небольшой задержкой скрежетнул в замочной скважине ключ. «Ой, миленький, с возвращением! Как ты? А твои...» «Все хорошо. Спасибо, я знаю. Дайте ключ, пожалуйста.» «Да-да, конечно, вот,» – бабулька, для всего двора «БабВаля», пошарила на полочке в прихожей и протянула ключ ему, тот же, немного погнутой, со следами-зазубринами от камня, которым он его выпрямлял после

того, как они с пацанами согнули его, пытаясь поддеть-поднять чугунную крышку водосточного колодца, чтобы пройти «по катакомбам»...

Зашел в квартиру. В полумраке прихожей в большом ростовом зеркале увидел себя. Поставил на пол сумку. Пятерню, как гребень, запустил в волосы, сжал в кулаке чуб и дернул из всех сил. «Дома... Правда, дома.»

В квартире пахло нежилым. Сестра подписала контракт и уехала на Север. Мать почти год назад вышла замуж и перебралась к мужу в его дом в пригороде. Об этом она рассказала ему, но не сразу. Она приехала к нему в госпиталь, когда он от боли и реальной перспективы остаться без ноги практически не спал. Смотрел в высокий белый потолок, скрежетал зубами по ночам, днем, видя, как по коридору мимо палаты, туда-сюда расхаживаются, неумело стуча костылями такие же, как он, пацаны, материл на чем свет всех – медсестер, врачей, санитарок, выносивших судно. И войну. Романтика кончилась. Даже служба на износ, на пределе физических возможностей сначала в учебке, потом уже на «той» стороне в отдельном разведбате, даже первый убитый в короткой рукопашной «дух», даже первые потери в его призыве, не уничтожили романтический флер войны... Он вдруг стал слышать невесть откуда приходящие рифмованные строчки. Выпрашивал у старшины любую пригодную для записей бумагу и записывал их. Про почти белое небо, изрезанное зубцами гор. Про то, как после боя хочется пить, только пить. Про дембелей, что летят домой. Про отчаянно красивые рассветы, встречаемые на посту. Про девчонку, конечно, что ждет где-то в снегах на другом конце земли. Эти были самые неумелые... Потом стал подбирать аккорды на общей «батальонной» гитаре. То, что получалось показывал добровольным слушателям. Голос был так себе, но пацанам нравилось...

Сломался он не когда пришел в себя в Кабульском госпитале и майор-хирург на его вопрос: «Бегать смогу? Я ж спортсмен, мастер спорта» ответил: «Ты думай, как ходить будешь...» А когда на очередном обходе тот же майор процедил: «Резать надо. И быстро.» И ушел. А следом пришла медсестра, приблизительно одних лет с матерью, стала готовить его к операции. Тогда он сорвался в первый раз. Наорал на нее такими словами, которые мужчина ни за что при женщине не скажет, вырвал капельницу, бился в истерике, размазывая слезы по небритым щекам... «Не дам резать!»

Ему повезло. Организовался срочный борт в госпиталь им. Бурденко для офицеров и самых тяжелых. И майор как-то ухитрился вписать в список его. Он почти успокоился, пока летели, молча терпел и только кончиками пальцев, едва касаясь, поглаживал, ставшую похожей на небольшое бревно, ногу. Про Бурденко он знал. Там «по благу» даже спортсменов с компрессионными переломами позвоночника ставили на ноги. Не всех, конечно... Но он верил, что ему повезет. Или надеялся. Или и то и другое вместе. Там, в Бурденко он и слетел с катушек во второй раз. Консилиум белых халатов, прямо в его присутствии, вынес вердикт: ампутация. По самый пах. Без вариантов. Он плохо помнил те дни. Откуда-то взялась мать. Потом уже понял, что вызвали из госпиталя. Ее он не ругал, но и не слушал. Только ненадолго падал в забытье, когда она гладила его по голове... как в детстве... он тогда валялся с воспалением легких, бредил и, ненадолго приходя в себя, видел ее и чувствовал сухую, натруженную, прохладную ее ладонь на горячем своем лбу... Позже он узнал, что она устроилась санитаркой, чтобы быть с ним. Как ей это удалось, в какие кабинеты она ходила и с какими погонами разговаривала, осталось ее тайной. Но она была рядом.

А спас его совсем молодой, ненамного старше годами хирург. На том, первом, консилиуме главный спросил его, молча стоящего чуть в стороне от «маститых и облеченных»: «А что скажет Виталий Федорович?» И он, некрупный, но с широкими, как саперная лопатка, ладонями, произнес фразу, которая, как выяснилось потом, решила судьбу: «Разрешите попробо-

вать?» Главный смерил всю негигантскую фигуру врача сверху донизу, помолчал и изрек: «Ну-ну... Разрешаю. Неделя.»

«Виталик», как он стал звать его про себя, пришел в тот же день к вечеру. Попросил мать оставить их для мужского разговора. Когда дверь палаты закрылась за ней, повернулся к нему и сказал, медленно, разделяя слова: «Истерики прекратить. Персонал не оскорблять. Все требования и назначения выполнять. Ногу будем стараться сохранить. Но шансы – один к девяти. Я не Господь Бог. И не мама, рассусоливать не буду. Все, что от тебя требуется – хотеть. Изо всех сил. Как девку. Девки-то были у тебя?» «Нет...» «Ну тогда... что ты в жизни сильно хотел?» Он вспомнил, как сильно лет в десять хотел настоящую клюшку для хоккея с мячом, как сэкономил деньги на школьных обедах, как купил ее и притащил в школу, чтобы похвалиться перед пацанами. И как в тот же день ее «увели»... «Клюшку хочу вернуть...» Хирург непонимающе посмотрел на него, потом махнул лопатообразной рукой и закончил уже по-армейски: «А будешь выживать, наколем тебя успокоительным, и я сам отхреначу тебе ногу по самое не балуйся. Нам тут лишние трупы не нужны. "И вышел, решительным движением притворив дверь.

Вернулась мать, присела на край кровати, взяла в руки его ладонь с обкусанными, в заусенцах ногтями, стала поглаживать, глядя в глаза. «Мам, я буду бегать.» «Бог даст, сынок.» Он никогда до этого не слышал от нее упоминаний о Боге, но в ту минуту не обратил на это внимания.

Во время первой, как ему потом рассказали, почти десятичасовой операции «Виталик» восстановил кровоток, сшил, собрал чуть не заново кровеносную систему и нервные окончания. Он-то ничего этого не знал. Отойдя от наркоза, даже еще не проснувшись вполне, чувствовал только, что боль никуда не делась. А нога как была неподвижным бревном, так и осталась. Снова навалилось уныние на грани отчаяния. В голове всплыла и завертелась армейская поговорка: «всё – говно, кроме мочи...» Но пришел «Виталик». Сел на табуретку, отдернул одеяло. И вдруг без предупреждения чем-то острым уколол большой палец. Нога дернулась, боль отдалась чуть ли не в голове. Как-то внутри большой, уже привычной боли. Хирург расцвел в едва ли не детской улыбке. «Ты – моя диссертация.» Хлопнул «лопатой» по плечу и пошел прочь, насвистывая какую-то попу.

Потом собирали раздробленные кости, сшивали мышцы. Он лежал на «вытяжке» с солидной такой гирькой на тросике. Когда разрешили вставать, ему поставили чудо-аппарат Илизарова. «Ходи,» – сказал врач. И он стал ходить, наматывая сначала десятки, потом сотни метров по длинному коридору, приволакивая ногу, но все же наступая на нее! С костылем, с палкой, и, наконец, без ничего.

Мать уехала, когда он пошел. «Надо, сынок. Коля зовет. И к Ларисе съездить помочь.» Пока он тут купался в своих несчастьях, Лариска, оказывается, родила племянника и, похоже, решила остаться «на северах».

Перед отъездом мать долго плакала, ходила за «Виталиком» попятам, благодарила, однажды даже в коридоре попыталась поцеловать его руку. Но он руку вырвал и убежал в ординаторскую. А ему сказал: «Хочешь бегать, разрабатывай мышцы. Там сейчас одни рубцы. Но мышечная ткань восстанавливается. И подвижность должна восстановиться. Дерзай.»

На прощание мать оставила ему книжку, «Повесть о настоящем человеке». С закладкой, которую он обнаружил уже после того, как она уехала. На том месте, где тяжело контуженный полковой комиссар ежедневно, будучи прикованным к постели, изводит себя физическими упражнениями. Мама... Она знала, что ему нужно. Не слезливое сочувствие и жалость. А пример и совет.

Упражнения с собственным весом, как это называлось в институтском учебнике по теории физкультуры, массаж и разные растирки – все, что было ему доступно тогда. И два курса инфизкульты плюс десять лет сознательной жизни в спорте в помощь. В свое время он осознанно выбрал десятиборье за его многосторонность и универсальность. Хотелось быть супермэном... Дорос до мастера, призера Чемпионата РСФСР, в сборную Союза пригласили незадолго до «спецпризыва» в июле 84-го... Мелких травм, вроде растяжений, вывихов, разрывов связок, хватало, в спорте высокого уровня без этого никак, так что какой-никакой опыт приведения себя в форму он имел. У начальника отделения выпросил разрешение заниматься до и после отбоя в большом, обставленном цветами в горшках, холле, чтобы не беспокоить соседей по палате. У сестры-хозяйки – моток резинового бинта. И приступил... С яростным, жгучим желанием «вернуть клюшку», то есть то чувство счастья, достижения мечты, овладения, физического наслаждения держать в руках, осязать ее... Только теперь всё это касалось собственного тела. Он должен был вернуть себе это ощущение хозяина над ним. Он думал, что к боли готов, что уже сроднился с ней настолько, что она воспринималась как нечто неотделимое от нынешнего его состояния. О боли от «забитых» мышц вообще не думал. Что ты за спортсмен, если после тренировки мышцы не болят...

Но боль, с которой он столкнулся теперь, была особенная. Хитрая была боль. И с упражнений он начал самых простых, усвоенных до автоматизма, и контролировал их амплитуду и интенсивность, но выстреливала боль, и вся правильность летела насмарку. Нога хотела, чтобы ее не тревожили, жалели, холили и берегли. Ей ведь так много пришлось испытать. Она хотела просто лежать и ныть без движения... он едва ли не физически ощущал, как на любую, самую незначительную нагрузку, она подавала жалобы в мозг, и тот, идя на поводу, отправлял сигналы не туда, куда надо, а где полегче. И привычные движения получались искаженными, не такими, как должны быть.

Он привык контролировать каждую мышечную реакцию. Благо вторая нога работала исправно. И раненая, исковерканная должна была стать такой же! «Не можешь – научим. Не хочешь – заставим...»

После отбоя отделение затихало и погружалось в полумрак. Хорошо освещенным оставался только дежурный сестринский пост рядом с холлом, и он перебрался ближе к нему, чтобы и визуально контролировать движения. Темное окно служило зеркалом. Он вспомнил и про идеомоторную тренировку, про образ движения, аутотренинг... даже индийские духовные практики, которыми, было время, увлекался. Все, что знал, все, что умел, должно было помочь или заставить ногу работать! А она упорно отказывалась. И боль, проклятая, подлая боль, выстреливала всегда без предупреждения и не там, где он ее ждал.

Молоденькие дежурные сестрички, недавние выпускницы медучилища, а может, и практикантки, сначала с сочувствием смотрели на его мучения, когда он вытирал полотенцем липкий пот со лба или кряхтел, не утерпев, после очередного внезапного болевого «выстрела» или от досады, что движение снова не получилось. А потом стали вместе со сменой передавать и его, как эстафету, делясь при этом его успехами и неудачами, так что, заступая на дежурство, каждая уже знала о его «достижениях».

Когда появились первые успехи и удовлетворение от хорошо выполненной работы, да что там, настоящая радость, едва ли не восторг, когда он смог просто сделать полсотни элементарных приседаний, без перерыва, кряхтения и не опираясь ни на что, он вдруг стал замечать этих девчонок с их сочувственными и, может ему и показалось, заинтересованными взглядами. Выделил одну, маленькую – ему по плечо, скорее худенькую, чем стройную, с тугим, тяжелым «конским хвостом» на затылке и трогательно оттопыривающимися розовыми ушками. Чуть курносая, с удивленно приподнятыми бровями и оливково-темными большими глазами. Да, еще руки – узкие кисти с тонкими, на первый взгляд, слабыми пальцами, с розовыми,

коротко остриженными ноготками без признаков лака. И губы... немного тонкие, нижняя чуть-чуть выступала, она, видимо стеснялась этого и постоянно прикусывала, отчего губы казались плотно сжатыми, и это придавало ее лицу подчеркнуто строгий вид. «Строгая Дюймовочка...» Только однажды он подсмотрел, как она, заполняя за столом какие-то бумаги, старательно выводя латинские названия, высунула от усердия кончик языка... Красивая? Наверно. Ему просто не приходилось еще рассматривать женскую красоту вблизи...

Две другие, бойкие, смешливые, открытые. Возле них почти постоянно, даже в ночные часы крутился кто-нибудь из выздоравливающих офицеров, изнывающих от долгого безделья и отсутствия женской ласки. Они охотно принимали ухаживания и подношения в виде шоколадок, изредка – цветов, выслушивали армейские шутки молодых и рассказы «за жизнь» старших офицеров. Отвечали ли кому-то взаимностью? Кто знает...

А возле Дюймовочки увивались не очень, разве кто-то из новеньких по незнанию.

Он стал наблюдать за ней. Незаметно, как ему казалось. Как прямо она держит спину, когда сидит. Как быстро отзывается и спешит, если вдруг загорится перед ней лампочка с номером палаты. Как мягко, но уверенно и без смущения просит повернуться и делает укол, не обращая внимания на возраст и предполагаемое звание «мальчика». Она всех называла «мальчиками» или строго «больными», хотя подавляющее большинство доставили «из-за речки», и даже смотреть на эти искореженные войной тела было трудно. А некоторые, как он, срывались. Теперь со стороны он как будто увидел себя тогдашнего...

Влюбился ли он? В двадцать, наверное, другого объяснения и не найдешь. «От тебя требуется одно – хотеть. Сильно. Как девку.» – сказал тогда врач. И он захотел. Ее. Но не как девку для утех. Он и представление-то о них имел весьма слабое. Долгая, аж пять лет, дружба с однокурсницей в начальной школе... неудавшаяся попытка подружиться уже с другой в выпускном классе... Однажды, совершенно случайно, он оказался в постели со знакомой из общей подростковой компании и запомнил, как мягка и податлива женская грудь...

Но и все. Изнурительные тренировки, конечно, не могли подавить полностью гормональный бунт созревшего организма, но приоритет был за спортом. Добиться, достичь, стать. Это было главным. «Ну а девушки? А девушки – потом...» Так он и ушел в армию, не став мужчиной в известном смысле.

А теперь... Он засыпал после утренней тренировки, обессиленный, и даже боль не могла его разбудить. Но когда она заходила в палату с положенными утром таблетками и уколами, он просыпался. И по звуку определял – она. Пока она обходила соседей по палате, он сквозь ресницы наблюдал за быстрыми, точными ее движениями, слышал негромкие, спокойные, но с начальственными нотками в голосе, реплики. Когда очередь подходила к нему, он как будто во сне, нарочно поворачивался спиной, чтобы она легонько прикоснулась к его плечу...

Он представлял, как это может быть, он хотел ее. Но дальше объятий и робких поцелуев его воображение не работало. Потом она сдавала смену и уходила. Он слышал, как она прощается с персоналом, как закрывается дверь отделения. И воображение на предстоящие без нее двое суток включалось на турбо-режим.

Тогда, наверное, он совершил глупость. Может быть, самую большую в короткой его жизни. Он сочинил стихотворение. О ней, о том, как надеется, как трудно ждать... Набор банальных глупостей. Но адресованных только ей. Он бы и сейчас не смог объяснить, какой леший дернул его прочесть этот опус одной из ее сменщиц. Разве что желание проверить, получилось ли задеть тонкие женские струны... Сестричке понравилось. Тем более, что имя названо не было, он и имен-то их не знал тогда. А после отбоя, когда он вышел на тренировку, сестричка, одна из двух разбитных, позвала его попить чаю.

...В сестринской было темно и душно. Она, пропустив его вперед, прикрыла дверь, он услышал, как повернулся ключ в замочной скважине, подошла к нему и прижалась сразу всем телом. Его руки вдруг сами нашли ее выпуклости, халат распахнулся сам собой...

Он не знал, стал ли мужчиной в ту ночь. Все произошло слишком быстро. И нога почему-то не болела... Он, опустошенный, лежал, чувствуя, как обмякла ее грудь, попробовал сжать пальцами сосок, но она отстранила его руку. «Не надо...» Потом встала, в темноте накинула халат. «Скоро дежурный врач придет. А ты лежи.» И вышла, бесшумно прикрыв дверь.

3.

Рука касается плеча,  
Словно ласкает...  
Самим касанием леча.  
И боль стихает.

Так затихает нудный дождь,  
Порой бессонной  
А ты, почти не веря, ждешь  
Восхода солнца.

Оно взойдет. Опять без сна  
Ночь промелькнула.  
Но я усну. Лишь, чтоб она  
Плеча коснулась...

Она вошла в отделение – из коридора слышались голоса, ее бодрый утренний и второй, усталый, растягивающий слова после ночи дежурства. Разобрать их он не мог, но уловил вдруг возникшую паузу... потом разговор продолжился, уже ровно и деловито.

Он слышал, как она обходит палаты, постепенно приближаясь к его. Почему-то сегодня она начала не с их крыла, как обычно. И он сегодня не мог притвориться спящим. Он ждал, когда же за стеклом возникнет знакомый силуэт, и дверь, наконец, распахнется... Он не отрываясь смотрел на прямоугольник проема и угадывал, в какой палате она сейчас.

Дверь открылась, она вошла с подносом, уставленным кюветами, стаканчиками, склянками, как всегда застегнутая на все пуговицы, натолкнулась на его прямой неотрывный взгляд, на мгновение опустила глаза, тряхнула тяжелым, длинным «конским хвостом» и поздоровалась со всеми.

Он смотрел на нее все время, пока она обходила всех по очереди, ненадолго задерживаясь возле каждой кровати. Делала укол, давала лекарство, перебрасывалась несколькими словами с «мальчиком», переходила к следующему. Несколько раз, чувствуя его взгляд, поежилась... нет, как-то повела плечами. Странное дело, они не сказали друг другу ни слова, он только ночью наконец узнал их имена, всех трех. Но придумывал какие-то объяснения, оправдания. И ждал ее ответа...

Следующая очередь была его. «Повернитесь, больной.» Теперь она не отвела взгляд. Сделала укол, подала таблетки в стаканчике, другой – с водой. Достала из кармана и положила на тумбочку очередную чудо-мазь для ноги. «Спасибо...» «Пожалуйста. Выздоровливайте.» Как будто все, как обычно. Она перешла к следующему. Он закрыл глаза. Знает она о том, что было ночью, или нет, он так и не понял. Утренний обход закончился, дверь, закрывшись, щелкнула. Он уснул.

«Привет, герои!» Громкий веселый голос принадлежал старлею из соседней палаты. Везунчик, в рубашке родился, говорили про него. Уазик его подорвался на фугасе. Его выбросило в открытую по афганскому обыкновению дверь, и он, контуженный, пролетев по почти отвесному склону метров сорок, переломав чуть не все, что можно, остался жив. «Я в город,

Надо кому-нибудь чего?» В руках его был блокнот, в который старлей записывал заказы. Он попросил купить самую большую и вкусную шоколадку. И чтобы обертка красивая. Желаящие завязать знакомство с сестричками первым делом несли им шоколад...

В течение дня она еще несколько раз заходила, но он ждал отбоя.

Наконец, неспешно проползли короткие февральские сумерки. Отделение постепенно затихло. Он чуть надорвал обертку по склейке, засунул под нее сложенный вчетверо листок со стихотворением и, прихватив резиновый бинт, служивший эспандером, и полотенце, вышел в коридор.

Она сидела за столом, похожая на нахохлившуюся белую птицу. Перед ней стояла большая толстая, повидавшая множество рук, книга и лежала тетрадь, конспект, наверно.

Чайка... гусь... аист... лебедь... Какие еще есть белые птицы? Эти не подходили. Когда-то у него был белый волнистый попугайчик. Ручной, очень разговорчивый, но обидчивый. Когда он вот так же, как она сейчас, вернувшись со сборов, в последнюю перед экзаменом ночь штудировал учебник, Федя, соскучившись по общению, топтался по голове, плечам, потом спускался на стол и лез на книгу. Тогда он, щелкнув его по клюву, ладонью просто сдвигал его на край стола. Попугай поворачивался спиной и, встрепенувшись, прятал клюв в перья на груди. Обижался, значит. Но ненадолго.

...Чего он вспомнил того попугая? В ней ничего общего с ним не было. Просто обычно она держала спину прямо, как пионерка-отличница. И писала так же, чуть склонив на бок голову. А сегодня...

Услышав его прихрамывающие шаги, она повернула голову. Узнала. Теперь уже он шел как будто в лучах прожекторов. Неприятное ощущение. Как голый. И ни спрятаться, ни прикрыться.

«Добрый вечер», – он впервые назвал ее по имени.

«Добрый вечер. Вам что-то нужно?» – в голосе шевельнулись сочувственные нотки, отчего-то задевшие его.

Он на своих двух ногах, спортсмен, хоть и бывший, похоже, чемпион, да он приседает без одышки и стонов полсотни раз за подход, он проходит по коридору за тренировку по километру, а вот только станет тепло и побежит, он мужчина, в конце концов!

Он достал из кармана и положил перед ней шоколадку с картинкой из сказки «Машенька и медведь». Из-под обертки выглядывал белый уголок...

Она достала листок. Развернула его. Прочла двенадцать строк, написанных нарочито-разборчивым почерком. Пауза затянулась. «У меня почерк плохой, может быть, что-то непонятно», – торопливо, приглушая голос, проговорил он. «Нет, я все поняла.» Она подняла на него глаза, а пальцы свернули листок в исходное состояние. Тогда он жизнерадостно, как ему показалось, улыбнулся, широко, как кукольный Буратино: «Может быть... чай попьем?»

С сухим шелестом листок со стихом превратился в ее кулачке в комок. Она встала с прямой, как натянутая струна, спиной. Ее глаза, при разнице в росте, вдруг оказались на одном уровне с его. Он не умел читать по глазам. В женских разбираться не умел тем более.

Она дала ему пощечину. Хорошую такую звонкую оплеуху, неожиданно весомую для худенькой тонкой ладошки. Он даже улыбку с физиономии убрать не успел.

«Извините, я на работе.» В этот момент, действительно, на пульте загорелась лампочка с номером палаты и она, ушла, почти убежала. Оглушенный, он только проводил взглядом быстрые ее ноги, почти бесшумно удаляющиеся по коридору...

Ответ был получен.

4.

У крови нет голоса. Она никуда не зовет.

Просто течет и течет,  
Пульсирующими толчками.  
А ты давишь и давишь на спусковой крючок.  
Хватаешь его за ХБ и тащишь за камень.

А искры вспыхивают – из камня или из глаз,  
Залитых потом со лба или злыми слезами.  
И ты извергаешь сумятицу порванных фраз:  
Держись, бля! Прорвемся!  
Мать ждет тебя!.. где там... в Хабаровске... или в Рязани...

Ты знаешь, ты веришь: вертушка вот-вот... где-то рядом... вот-вот...  
Ты тащишь последний рожок из пропитанной кровью штанины,  
И видишь улыбкой застывшей его перекошенный рот,  
И с воем звериным спускаешь рожок до пружины.

Потом открываешь глаза, тебя тащат, как куль, на спине.  
Ты слышишь, как мелкие камешки катятся в пропасть...  
«Трехсотый...» и кто-то, собою довольный вполне,  
Хлопочет крылами со свистом, как вертолетная лопасть...

Февраль пролетел. И март. Тренировки, он всерьез стал называть их так, доводя себя до изнеможения, из душевного отделения переместились в госпитальный парк. «А девушки потом...» Надя, Надежда пропала сначала на несколько дней, пропустив очередное дежурство, потом появилась вдруг не в «свой» день, радостная, улыбающаяся. Обошла все палаты, попрощалась. Где со всеми сразу, с лежачими и тяжелыми – с каждым. «Поправляйтесь, мальчики...» Возле него задержалась, выложила из кармана тюбик с каким-то супердефицитным бальзамом, посмотрела прямо в глаза, протянула ручку, ту самую. «Простите. Успеха Вам. Вы справитесь.» Улыбнулась, и солнечный зайчик блеснул в ее зрачках. В дверях обернулась и помахала рукой, напоследок сжав ее в кулачок. «Но пассаран!» И исчезла, теперь уже насовсем.

Вышла замуж за хирурга-майора и уехала с ним туда, где белое солнце, горы, война и много работы.

Об этом рассказала бойкая на язык и вообще Ленка, ставшая его первой...

Надя и этот неизвестный ему майор давно встречались, и все у них было решено. А он, видя ее неприступность и строгость, придумал ее себе. «Ничего нет невозможного для человека с интеллектом.» И с фантазией 20-летнего парня...

Старлей, которого он в той стычке, или, как принято говорить, боестолкновении, утащил за большой валун, оскальзываясь на окровавленных камнях, бессознательного и оттого неподъемно тяжелого, отворачиваясь от секущих лицо каменных осколков и непрерывно стреляя, нашел его в госпитальном парке. Это было в конце апреля, когда снег почти сошел, почки набухли, и в еще прохладном воздухе нежно и тоскливо ощущался их горьковатый свежий аромат.

Он выбрал для тренировок аллею подальше от глаз, упирающуюся в площадку со скамейками. Сидеть еще было прохладно, да и гулять тоже, поэтому здесь его никто не беспокоил. Здесь он третировал ногу, заставляя вспоминать все, что она прекрасно знала и умела, но сопротивлялась упорно, призывая боль на помощь. Здесь он, не стесняясь никого, скрежещет зубами, кусал губы, матерился и даже плакал от боли. Ему казалось временами, что сдви-

гов нет, что так все и останется. Вспоминался Паниковский – Гердт, убегающий с гусем подмышкой...

«Здорово, ангел-хранитель...» Он поднял голову. Перед ним стоял старлей, но с капитанскими погонами на кителе, и протягивал руку. Он, как будто не веря, протянул свою. Крепко сжав ее, бывший взводный выдернул, поднял его со скамейки, на которой он переводил дух после «пробежки» и пытался хоть как-то представить свое будущее.

Они обнялись. Потом сели. Взводный, они звали его просто Леха, чуть пониже его ростом, «рязанский хохол», потомственный офицер, отец его после той, Великой Отечественной, служил испытателем парашютов, с крупными, словно вырубленными чертами лица, певун и балагур, могущий травить анекдоты часами на любую тему, раскрыл чемоданчик-«дипломат» и достал армейскую флягу в выцветшем тканевом чехле. «Ты как, поддержишь, можно тебе?» «Леха, а я же думал ты того... всё... Тащу, матерюсь, и думаю: бля, он же мне песню так и не переписал. Так обидно стало, и патронов нет ни хера, у тебя последний рожок вытянул да со злости весь до пружины и спустил за раз...» Леха с улыбкой, характерной, уголками рта, разливал в маленькие пиалки кричневую пахучую жидкость. «Коньяк. Комбат выделил. Сказал, будешь в Москве, заедь в Бурденко. Узнай, что с парнем, поддержи, если что... Нас двое тогда осталось. А мне срослось, что кровь в санбате нашлась моей группы, а то и до Кабула не доехал бы.» «Леха, я... да хрена ли говорить, рад я, что ты живой. Давай за пацанов...» Выпили залпом. Защищало в глазах. Зажмурясь, с силой провел большим и указательным пальцами по векам, задержавшись в уголках глаз у переносицы. Леха налил по второй. «Давай за встречу. Будем жить. И за них тоже.» Стукнулись набитыми костяшками кулаков, чокнулись, вроде. Выпили. Мозг мягко затуманился. Как будто и полегчало. «Хороший коньяк.» «А то. Комбату его канистрами возят. Говорит, армянский. Да какая, на фиг, разница...»

«Леха, давай за твои звездочки.» Старшими лейтенантами в Афгане становились довольно быстро. А дальше... Можно было надолго «зависнуть». Или из-за «чрезмерных» потерь, или «неоправданной жестокости», или сорвавшись по дисциплинарной линии. Для «ваньки-взводного», час назад вышедшего из боя, нахамить какому-нибудь проверяющему, прибывшему из «Союза», выслушивая за бардак в расположении или пробелы в идейно-политическом воспитании личного состава, было как два пальца об асфальт... Нервная система выдерживала не у всех, люди не роботы... И, что греха таить, до капитанских погон можно было просто не дожить. Должность командира взвода частенько становилась вакантной и оставалась таковой подолгу.

Их взвод терял меньше других, и заслуга в том была только его, Лехи. Он придумал грубую и по-солдатски циничную шутку. Говорил: «Я письма писать не люблю.», имея в виду, что командир должен был писать домой семьям погибших. Отец, заслуженный пенсионер, полковник в отставке, продолжал работать инспектором по парашютно-десантной подготовке. Он мог сделать так, чтобы сыну, мастеру спорта международного класса, члену сборной ВДВ по парашютному спорту, не довелось понюхать пороха, лазая по афганским горам. Но Леха свой выбор сделал сам. И звездочки свои выслужил честно. И письма писал редко...

«Погоди, успеем. Есть повод поважнее.» Леха снова полез в «дипломат». «Тьфу ты, про лимон забыл.» Но вместо лимона достал маленькую красную коробочку. Построжев лицом, встал. Невольно следом поднялся и он. Твердым командирским, чуть звенящим голосом, каким доводил боевую задачу, Леха отчеканил: «Сержант Григорьев, по поручению командования за образцовое выполнение интернационального долга, проявленные при этом мужество и героизм, спасение в бою командира подразделения вручаю Вам правительственную награду.» И достал из коробочки орден Красной Звезды. Посмотрел на коричневый больничный халат и – отдал в руки. «Вольно, сержант», хлопнул по плечу, «можно расслабиться.»

Он смотрел на темно-красную эмаль пятиконечной звезды, на серебристую фигуру красноармейца с винтовкой в центре... и вдруг сжал ее крепко, до боли.

«Давай ее сюда, обмыть надо.» Леха снова наполнил пиалки и в одну погрузил звезду. «Честный солдатский орден. Твое здоровье.» Он махнул свою залпом. «Спасибо, брат. Должник я твой на всю жизнь.»

Он свою пиалку выпил медленно, пока губы не коснулись эмалированного металла. Достал орден, положил в коробочку, коробочку убрал в карман халата.

«Тут еще вот какое дело...» Леха снова полез в «дипломат, достал, наконец, лимон и еще две красные коленкоровые коробочки. «Это Витька и Сереги, дружков твоих.»

Витек был саратовский, из детдома. С виду щуплый, кожа да кости. Но злой и выносливый, как верблюд. Его и прозвали «корабль пустыни». Или просто Кора.

Серегу растила бабушка. Любил он ее безмерно, в письмах врал от души, что служит поваром, лопают от пуза, у начальства на хорошем счету. Как уж там шло его дворовое детство в заводском районе Красноярска, не распространялся. Но однажды обмолвился: «Хорошо, что в армию забрали. Вовремя. А то бы сел.» Но пока служил, бабуля померла...

Что их сдружило, трудно сказать. Может быть то, что война пробудила в каждом из них способности, дарованные при рождении, но спящие до поры под спудом жизненных передряг... Наверное, это была какая-то форма психологической защиты. Другие находили иные способы. А Витька вдруг стал рисовать. И рисовал каждую свободную минуту. Лица... пейзажи... кишлаки и бытовые сценки из жизни местных жителей... Обладая цепкой памятью, он выхватывал и запоминал то, на что другие не обращали внимания. Рисовал только простым карандашом. Но рассвет на его рисунке, например, нельзя было спутать ни с каким другим рассветом где бы то ни было. А в глазах нарисованного дехкана читалось о чем он сейчас думает...

Его вот в стихоплетство ударило. Правда и книжек в детстве он перечитал немало, спасибо сестре, читать научила рано.

Серега, «Удод», с вечно торчащим хохолком волос на макушке, играл на гитаре и обладал уникальным музыкальным слухом. Батальонная «общая» гитара прочно прижилась над его «шконкой». И никто особо не возражал, к нему ходили брать уроки игры или с просьбами подобрать что-нибудь полюбившееся. Когда он стал подбирать на гитаре аккорды к своим стихам, Серега, с ходу уловив гармонию, делал из его неумелых потуг музыку. А потом еще и ему помогал ее выучить.

Но главное, все-таки, заключалось в том, что в бою он всегда знал, что его спина надежно прикрыта. И они тоже знали, что он всегда где-то рядом. Настоящая была дружба. Без понтов. Без лишних ненужных откровений. Без навязывания своего, но с готовностью слушать и слышать.

...Они погибли в один день, в конце августа. За месяц до его последнего «выхода». Тем, что остался цел тогда, он, по сути, был обязан им.

«Комбат просил... Так и сказал: передай, если парень ноги лишился, они его, вроде как, поддержат. А если нет, тем более передай, он память о них сохранит. Вот, выполняю „батин“ наказ. У них-то никого не осталось...»

Он подержал, погрел в ладонях такие же, как его, звезды-близнецы. Потом аккуратно положил их в пиалы. «Давай и за них обмоем. Наливай.»

И они выпили. Не чокаясь.

## 5.

Хмельные от комбатовского коньяка и воспоминаний, они долго прощались на пересечении парковых аллей. Одна вела к его корпусу, другая – к центральным воротам. Слегка покачиваясь, обнимались, хлопали друг друга по спине и плечам. Леха взболтнул фляжкой и сунул ему в руку. «Держи, там осталось. За „батин“ здоровье.»

Словно предвидя долгое, а может и навсегда, расставание, ткнул его кулаком в плечо: «Будь здоров, сержант. Удачи тебе.»

«Ты куда теперь?» «В штаб ВДВ вызвали за новым назначением. Да к родителям надо заехать.» Леха в мыслях о доме даже мечтательно прикрыл глаза... «Слушай, а песню-то!» – вдруг вспыхнул он. «Да какую песню?» «Ну помнишь, когда мы из учебки пришли, ты, знакомясь с пополнением, пел. Как муха замуж выходила... Смешная такая, на украинском. Я ее кусками с ходу запомнил, тебя просил переписать, да как-то не случилось...» «А... я пришло. У меня все ваши адреса в блокноте есть...» Леха погрузился на миг. Все же, хоть и не часто, а письма писать довелось... «Да, чуть не забыл, я там вещи твои привез, дембельские. Пацаны сберегли, думали, ты вернешься. Сумку в отделении оставил.»

Неподалеку нетерпеливо с ноги на ногу переминалась медсестра. Новенькая, вместо Надежды, пришедшая, чтобы позвать его на процедуры, о которых он, заговорившись, и не вспомнил даже. По странной иронии звали ее Вера, Верочка. Узнав ее имя, он подумал: «Надежда упорхнула. Вера вместо нее... А как Вера без Надежды? Значит, и та никуда не делась. Любовь еще... нечаянно нагрянет, и полный комплект.» Усмехнулся мыслям: «Всё будет хорошо,» не отдавая еще себе отчет, что «придумал» выражение на все случаи жизни, которое, как спасательный круг, как опора, костыль, воздушный шар или что там еще, будет выручать много раз потом, в не самые легкие моменты. И сейчас он вслух в ответ на Лехино: «Прорвемся, брат» сказал: «Всё будет хорошо. Прорвемся.»

В последний раз они крепко сцепились руками, Леха, офицер, козырнул ему, сержанту, своему подчиненному, пусть и бывшему, подхватил свой «дипломат» и зашагал на выход. Он, оглянувшись на Верочку, махнул, мол, сейчас иду, а сам все смотрел на удаляющуюся Лехину спину. Потом окликнул его: «Товарищ капитан!» Леха обернулся. Он, вытянувшись в струну, отдал ему честь. «К пустой голове руку не прикладывают!» – крикнул Леха. «Да и ладно!» – махнув рукой, отозвался он. Повернулся и пошел, стараясь держаться так же прямо.

А потом подошел и день выписки.

Пришел «Виталик». «Здорово, чемпион. Ну покажи, чего умеешь.» Он, пусть с опорой на тумбочку, пусть с искажившей на мгновение лицо гримасой, но сделал! – «пистолет» на больной ноге. Встал, выдохнул с чувством хорошо выполненной работы и с некоей даже гордостью посмотрел на врача. «Герой... жить будешь. Шучу. Молодец. Выписываем тебя. Направление на реабилитацию получишь. Форму новую взамен твоей „афганки“ выдадут на складе. Удачи.» Качнул головой: «чемпион...» и вышел из палаты.

...Квартира была нежилая, но прибрана. Несмотря на открытые по случаю июльской духоты форточки, пыль отсутствовала. Даже на книгах. Только стояли книги не так – ровными рядами, корешок к корешку. Его порядок был другой. Особо понравившиеся, нужные и требующие перечтения ставились в первый ряд или на уровне глаз, чтобы не искать долго. Поэтому наблюдался некий визуальный хаос. Не единожды сестра пыталась приучить его к порядку, но он, отругиваясь, оставлял все как есть. Сейчас, видимо, мать, протирая пыль, составила книги как ей казалось правильным. Он медленно оглядывал ровные ряды, выискивая любимые названия. Твен с его «Том Сойером»... «Два капитана»... «Герой нашего времени» Лермонтова... «Один из нас»... «Амур-батюшка»... Джек Лондон стоял рядом с Хемингуэем... «Собор Парижской Богоматери оказался в соседстве с «Денисом Давыдовым» и «Суворовым»... Есенин с «Тремя мушкетерами»...

Он вдруг наткнулся взглядом на институтский учебник по физиологии. Не успел сдать в библиотеку, чуть не сразу после сессии призвали...

Открыв дверцу секретера, он нашел толстую тетрадь со свободными листками, шариковую ручку, и прошел на кухню. На столе лежала записка. «Сыночка, прости, что не встретила.

С работы не отпустили, конец месяца, план гоним. Покушать – в холодильнике. Вечером я приду. Целую. Мама.»

Поставил на газ чайник. В холодильнике обнаружил нераспечатанную бутылку «Столичной», кусок вареной колбасы. Из серванта достал стопку. Сел к столу. Снова встал, вернулся в прихожую за сумкой. В боковом кармане лежали несколько фотографий. Парни и их не забыли. Дембельский альбом он сделать так и не успел. Фото, те, что мать с сестрой присылали еще в учебку, были потертые, с заломанными, залохматившимися уголками. Большая часть фотографий была сделана уже «за речкой», несмотря на строгий приказ-запрет. По приходу в «войска» их, необстреляных «шеглов» в парадном необмятом виде снял штабной фотограф для отправки снимков домой. И все. Этот снимок, только увеличенный, стоял в большой комнате на полке шкафа за стеклом. А там они, сначала тайком от командиров, потом и с ними, фотографировались в разных показушно-геройских позах – и с оружием, и на технике, нарушая все запреты. Но никогда сразу по возвращении с «выхода». Не для посторонних глаз это. Для памяти. А когда грузом 200 в Союз полетели его одногодки, он перестал фотографироваться вообще.

Он перебирал снимки... Наконец нашел то, что искал. Они снялись впятером возле вертолета в ожидании командира группы, получавшего в штабе задание на очередной разведывход. Они с Серегой присели на корточки, Витька, положив руки им на плечи, растопырил локти в стороны. Димок, связист, чуваш, русоволосый, мордастый, но с необычайно тонкими нервными пальцами, и Ильяз Щукин, «Щука», татарин, чернявый, с острыми чертами лица, легли на землю. Типа Витек – укротитель тигров...

Он поставил фотку на ребро, прислонив ее к хлебнице, налил стопку до краев и выпил, глядя им прямо в глаза. Надо жить. Он дома. Только как, он не мог представить. Не вырисовывалось в голове. Стоп! Он же записать хотел то, что со времени приезда взводного ворохталось в мозгу, слова складывались в обрывки предложений, какие-то рифмы сменяли друг друга. Не хватало какой-то одной, но чрезвычайно важной детали. Он понял. Все сошлось. Из сумки достал три коробочки, из них – три Красных Звезды. В кухонном шкафу нашел три граненых стакана, положил в них ордена, разлил до краев водку. Два накрыл горбушками черного хлеба, мать, помня его предпочтения, позаботилась. Выпил свой, торопясь проглотить обжигающую нутро жидкость – не приходилось ему еще пить столько за раз. И стал записывать в тетрадь свой разговор с ними.

...Чин по чину, на троих разделил.  
Не подводит глаз пока что меня.  
Два из трех горбушкой черной накрыл.  
Глухо звякнули на дне ордена...

Я за вас сегодня пью, мужики.  
Годовщина, всё ж-таки, не пустяк.  
Надо жить. А как не сдохнуть с тоски,  
Оттого, что на душе пустота?

Говорят, что время лечит. Мура.  
Нет вины на мне, но каждую ночь  
Пред глазами эта сучья гора,  
На которой я не смог вам помочь.

...Рвет «вертушка» воздух пыльный винтом.  
Вы прикрыли, я рванулся, залег,

Прижимаю «духов», вижу – бегом  
Ты, Серега. Чуть подальше – Витек.

Вслед ему – скупая строчка огня.  
Резануло уши: «Рыжий, прикрой!»  
И Серегина спина – от меня.  
И оранжевый разрыв над горой...

«Батя» мне сказал: «Сынок, не казись.  
Так бывает. Что поделать – война...  
Только знаешь... И на небе есть жизнь.  
И уж точно, там полегче она.

Это, брат, такая тонкая нить...  
Срок придет и ты поймешь. Надо жить.  
Они рядом. Только память храни.»  
Так что с вами я. Пока буду жив.  
б.

С улицы в открытую форточку сквозь обычный уличный шум – детский гвалт, скрип качели, тьяканье какой-то собачонки, хлопанье подъездных дверей, лязг приближающегося к остановке трамвая – проник особенный, подзабытый звук. Он подошел к окну. Во дворе две сестры-близняшки из соседнего подъезда гоняли белый теннисный шарик по вкопанному на детской площадке столу. Когда он уходил, им было лет двенадцать. И в теннис они уже тогда играли ловко. Выбить их в игре на вылет удавалось немногим. Сейчас они вытянулись, построились.

Он порылся в секретере, в тумбочке, в шкафу на антресолях. Нашел свою «крутую» фирменную ракетку – мягкую, толстую, гладкую, с резиновыми пупырышками накладок вовнутрь, с удобной хватистой рукояткой. Он привез ее с каких-то сборов и на время стал непобедим. Ракетка позволяла закручивать шарик по непредсказуемой траектории, раскрутить его, просто защищаясь, было непросто. Одна из близняшек, Настя, кажется, первой нашла «прием против лома». Надо было не защищаться, а атаковать. Своей обычной «деревяшкой» она сильным ударом гасила вращение шарика, отступив от стола чуть дальше обычного и доставала почти неберущиеся подачи. А следом и сестра научилась. И шансы почти выровнялись. Оставалось, правда, преимущество в росте и длине рук. Но они легкие, загорелые, неутомимые тянулись за каждым мячом. Сейчас, наверно, умения только прибавилось...

Он взял ракетку подмышку, закрыл дверь на ключ и пошел вниз, стараясь не хромать.

«Привет чемпионкам! Я – следующий «на вылет». Одна из сестер, отвлекшись на него, пропустила быстрый удар и побежала за далеко отлетевшим шариком. Другая вдруг засмушалась, опустив глаза. «Зевнула» та самая Настя. Она и раньше была бойчее, смелее, быстрее на язык. И теперь, вернувшись с шариком, заговорила первой. «Привет! Вернулся?» Сестра в разговор не вступала, пытаясь закрутить ракетку волчком на краю стола. «Давно тебя ждали, а то играть не с кем. Сейчас, я только с Анькой закончу.» Аня перестала крутить ракетку и улыбнулась: «Посмотрим. Счет какой?» «8:6. В мою пользу. Моя последняя подача.»

Обе были хороши. В простеньких ситцевых сарафанах в мелкий цветочек, открывающих загорелые ноги выше колен, со сгоревшими на солнце плечами и носами. Энергией, здоровьем и юной свежестью, казалось, не просто дышала каждая клеточка тела, но даже пространство рядом с ними было заполнено этим. Их было не отличить, настолько они были похожи.

Разве что характер и темперамент. Да еще волосы – у одной собраны в один короткий хвостик на затылке, а у второй хвостиков было два...

Он положил свою ракетку на скамейку. «Ну, поехали. Я сужу.»

К удивлению, Настя проиграла. Аня сначала взяла последнюю подачу сестры, прямо скажем, небрежную. А потом вырвалась вперед, проиграв только одну из своих пяти. Не помогло и то, что, проигрывая, Настя настояла играть большую партию. Она стала нервничать, ошибалась, меняла хват ракетки, как могла хитрила на своих подачах... Закончив партию, бросила ракетку на стол и, надув по-детски губы, уселась на скамейку, спрятав под нее ноги и скрестив руки на груди... Анька показала ей кончик языка.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.